

ДВЕ СУДЬБЫ

НЕДАВНО я прочел рукопись книги о Борисе Ивановиче Пророкове, о судьбе одного из удивительных художников нашего времени, о его умении понимать и чувствовать это время и служить ему силой своего таланта и ясной убежденностью своей души.

Он был моим старшим товарищем и другом, и я учился у него мужеству и настойчивости, умению увлекаться работой и понимать свою ответственность перед друзьями и временем.

Он был добр и верен и, не скрывая своего восхищения перед прекрасным, умел верить в человека и думать о будущем масштабно.

Все в нем было естественно. Его враги были врагами человечества.

Он ненавидел войну, и сейсмограф его души безошибочно указывал его вниманию ту точку, где должна закипеть буря.

Я любил его с первого взгляда. Он был для меня примером действия и судьей одновременно.

Его больше нет на этом свете.

Но стоит музей в его и в моем родном городе Иванове на тихой заросшей подорожником Черкасской улице и смотрит пятью светлыми окнами в глаза рабочей заботе занимающегося дня. Дом хороший, построенный из добротных сосновых бревен отцом моего друга Иваном Мефодьичем Пророковым, химиком-самоучкой, красковаром — мастером тех красок, которые превратили знаменитые ивановские ситы в живые радуги земной радости. И кто знает, может быть, именно мой отец — искусный раклист — печатал на двенадцативальной печатной машине в двенадцать пророковских красок эти самые ситцевые ярмарки света и цвета.

Но Иван Мефодьич был не только химиком, он был музыкантом, садовником и научил всех своих детей любить землю и песню. В память о его душе за пятистенным домом сам воздух над черными ветками яблонь в подушках иная пахнет антоновкой, а в самом доме, прислоненная к простенку, стоит виолончель, на которой Иван Мефодьич научил играть своего сына. Он хотел, чтобы из сына вышел музыкант. Но из сына получился не только солист семейной квартета, а еще и (да не «еще», а прежде всего!) художник, мировой мастер монументальной графики.

Я познакомился с ним в 1941 году на полуострове Гангут. Всеми правдами и неправдами пробрался он через начиненную миной Балтику в наш боевой гарнизон, который в четырехстах пятидесяти километрах западнее Ленинграда вел тяжелые бои. И Борис Иванович как-то незаметно стал душой нашей базовой газеты, тем уравновешивающим деловым началом, которое помогало каждому находить свое место, свое дело и выполнять его с предельным старанием. И в 164 героических днях обороны красного Гангута есть доля настойчивости пророковского характера.

После Гангута была Малая земля, где его так же, как и на Гангуте, помнили все, с кем он встречался, прославляя мужество героев и удивляя их своим мужеством. Потом он поднимал красное знамя на крепостную башню только что освобожденного Выборга, так и не успев после жестокой контузии отлежаться в медсанбате.

«Искусство должно быть как знамя — всегда впереди!» — эти слова он напишет в своем дневнике перед смертью, но прежде чем написать их, будет всей своей жизнью, каждым штрихом своих рисунков отбивать у жизни право сказать эти слова, подытоживающие его жизнь.

Прежде чем написать эти слова, он увидит костер из полуживых трупов в фашистском лагере Клоога, куда он ворвется вместе с первыми освободителями; потом высадится с первыми десантниками на остров Муху и упадет на голые камни, подброшенный взрывной волной; потом в подвале имперской канцелярии в Берлине нарисует на личных бланках Гитлера, подписанных его рукой, ненавистную морду с

Михаил ДУДИН,
Герой Социалистического
Труда

черной челкой на низком лбу и фатоватыми усиками под вздернутым носом.

Он, как и каждый солдат, оставшийся живым после войны, вправе был считать эту войну последней. Но ему не переставали по ночам снится гонки рикши, устроенные американцами в освобожденном корейском городе, и он понял, что его война с войной не скоро кончится, что на эту войну уйдет вся его жизнь.

Война мстила ему двумя контузиями и в конце концов приковала к постели. Но он вел свою войну с войной, не отступая, вел в одиночку, в те счастливые минуты и часы просветления, когда боль отпускала его душу и переставала давить железным обручем голою.

И эта война один на один была грандиозной по своему размаху, по своей беспощадности. Правда, незримо вместе с ним присутствовали, поддерживая его своим неистовством убеждения, учителя — Маяковский и Моор, Кете Кольвиц и Домье, Мусоргский и Бетховен, великая культура человечества, его гении и пророки, и память о двадцати миллионах беззаветных мужчин и женщин, лучших сыновей и дочерей народа, погибших в смертельной схватке с фашизмом.

Все, что сделал за это время Борис Иванович Пророков, освещено неистребимой верой в будущее, благородством чистой любви, солнечной надеждой первого на всей земле Иваново-Вознесенского Совета Рабочих Депутатов — прообраза власти рабочих и крестьян, образа справедливости мастеров, умевших в совершенстве делать свое дело и отстаивать свое.

Его отец Иван Мефодьич, как я уже говорил, был мастером-химиком, музыкантом и садоводом. И он, Иван Мефодьич, сын крепостного крестьянина, был другом первого председателя первого Совета Рабочих Депутатов — мастера-гравера и поэта Авенира Ноздрина.

Борис Иванович был старше меня на пять лет, и эти пять лет дали ему возможность воочию увидеть и глазами будущего художника запомнить и желтые лапсы астраханских казаков, расстрелявших рабочую демонстрацию на Приказном мосту, и зарево красного кумача в дымном небе Иваново-Вознесенска в дни революции.

Он сам оставил об этом записи в своем дневнике, написанном четким бисерным почерком, аккуратным и красивым. Он вел этот дневник на войне и в постели, когда боль не давала ему возможности встать за станок, как он называл свой мольберт. И написан этот дневник прекрасным русским языком, емким и выразительным, так же талантливо, как и картины Бориса Ивановича.

Он не искал славы,
Он искал действия.

Таков уж был у него характер, так уж он был заведен на всю свою трудную и завидно прекрасную жизнь.

Он умел, как никто, отсекал в своих картинах все лишнее, превращая их в своеобразные символы, зовущие и предупреждающие.

Он никем не заменим, и звезда опыта его служения жизни светит всем на горизонте человеческого беспокойства.

Я прочел прекрасную книгу, составленную из его собственных записей, из его писем домашним и друзьям, из писем друзей к нему, из отзывов на его выставки, из того, что писали о нем разные люди, которых ошеломлял и вдохновлял его талант.

Эту книгу сделала талантливой женщиной, землячка Бориса Ивановича Изабелла Васильевна Кислякова. Закончив ее записями своих бесед с Борисом Ивановичем, она создала единую картину жизни и борьбы этого удивительного человека.

ВОЙНА догнала его на пятьдесят седьмом году жизни. Но, смертью смерть поправ, он сразу стал значительным на все времена, прекрасно слетой песней своей судьбы

Чем же была прекрасна его судьба? Да тем, что она была вся без остатка до самого последнего вздоха отдана людям. Мне никогда не поверить в то, что его нет. Мне все кажется, что он ушел на vesлах в белый туман Белого озера или уплыл в синее ситцевое небо с осенними журавлями, и с часу на час, со дня на день, непременно должен вернуться из своей вечности.

В изголовье его стоит прямая, как совесть, сосна, и ее золотой на солнце, как его волосы, ствол поет, словно струна, натянутая между зеленой землей и синим небом.

Он родился в семье учителей в 1921 году в Белозерске, в древнем русском городе, не знавшем крепостного права. Он гордился тем, что засадный полк его далеких родичей решил исход Куликовской битвы, что один из белозерских Орловых в Отечественной войне 1812 года дослужился до полковника, а его одноорукий дед был лихим ямщиком, доставлявшим почту.

А сам он, Сергей Сергеевич Орлов, был по судьбе своей поэтом, по влюбленности в свою русскую землю, был командиром танка Т-34.

Он защищал Ленинград и два раза горел в танке, потому что уходил из танка, как это и положено настоящему командиру, последним.

Юность его осталась там — на рубеже огня и верности.

Я встретился с ним уже после победы в 1945 году. И с тех пор тридцать с лишним лет мы жили одной страстью.

Первая его книга — «Третья скорость» — вышла в Ленинграде в 1946 году.

С тех пор он стал необходимостью в поэзии русского языка.

В его стихах жила и будет жить душа подвига нашего поколения, светлая, верная, чистая.

Он был требователен и к стихам, и к товарищам, потому что был беспощаден к себе, к своему прошлому и к своему будущему. Таким он и остался в своих книгах на все времена.

Он умудрялся сквозь узкую смотровую щель танка видеть всю землю, траву и звезды, глаза матери и Вселенную. Это все живет в его стихах, в откровениях его души, полной любви и сочувствия.

Все на свете губят, в том числе и поэзию, подражатели. Сергей Орлов всем строем своей души был продолжателем и открывателем.

В опыте его любви и сочувствия есть опыт преодоления собственной боли, исполосованных шрамами тела и души. Этому опыту нет цены, потому что опыт синяков и шишек учит подлинный талант прилагательности к жизни, просветляет его высокой человечностью.

Он был тем мастером своего дела, для которого только что завоеванная вершина тут же становилась ступенью для другой, более прекрасной высоты на бесконечной дороге совершенства. И в подтверждение этой своей поэзии он сам сказал ясно и определенно:

А я хочу немногое
и многое хочу —
планету за порогом
асю в солнце, как бахчу...

И он ходил по этой планете, внимательно всматриваясь в подробности сущей на ней жизни, боясь спугнуть ощущение несказанного чуда преображения.

Он был рыцарем солдатской верности и учил ей исподволь, без назидательности. Он верил в победу разумных начал жизни и никогда не терял удивления перед ее очарованием. И эта очарованность жизнью, даже в кровавом месиве войны, светится, переливаясь, в его стихах, созданных вопреки войне.

Он был героем и певцом солдатского братства и песней своей вошел в братство поэзии. Навсегда вошел. И пушкинское пророчество: «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит» — относится теперь и к нему, Сергею Орлову.

...Всего две судьбы, навеки соединенные с судьбой народа, великой нашей Родины. И в эти дни, в кумаче наших праздников, мне видится отблеск их жизни, их человеческого подвига!..